

ДЕТИ РЖАВЧИНЫ

БОРИС ГРАНЬ



Сергей Шаповалов

Дети ржавчины

<https://litres.ru/74492023>

SelfPub; 2026

Аннотация

Торф помнит всё — каждую кость, каждый вдох. Секта чистит огнём, болью лечит страх. Сестра уже выбрала сторону. Осталось выбрать Мише: сгореть дотла или остаться топливом

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ИСХОД В ТОРФ	4
Глава 1. Запах серы	4
Глава 2. Марк Тагилов	14
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сергей Шаповалов

Дети ржавчины

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ИСХОД В ТОРФ

Глава 1. Запах серы

Воздух в нашем городе имел вес. Я, Миша Кротов, чувствовал его физически каждый раз, когда тяжелая железная дверь подъезда панельной пятиэтажки на улице Строителей захлопывалась за спиной, отрезая меня от относительной безопасности бетонного склепа. Это была не свежесть после дождя и даже не привычная городская пыль. Это был густой, маслянистый, почти осязаемый запах фенола, который тянуло с реки Черной — мертвой артерии цвета мазута, несущей отходы химического комбината прямо к торфяным болотам за чертой промзоны. Летом этот запах густел, становился сладковатым, тошнотворным, он въедался в волосы, пропитывал дешевую ткань китайских курток так, что вещи приходилось проветривать на балконе неделями, но они всё равно пахли смертью.

Город гудел. Не пением птиц, которого здесь никто не слышал последние лет сорок, не шелестом листвы — у нас тут почти не было деревьев, их выжгло кислотными дождями еще при Союзе, оставив лишь черные, похожие на обглоданные кости скелеты тополей. Город гудел низким, утробным басом доменной печи. Стены нашей квартиры на втором этаже мелко вибрировали круглосуточно. Иногда мне казалось, лежа в своей кровати перед сном, что это бьется сердце самого Левиафана, огромного железного зверя, пожирающего людей тысячами тонн руды и выплевывающего серый дым прямо в наши легкие. По ночам эта вибрация передавалась зубам. Я скрипел ими во сне, стирая эмаль в порошок, пока мать не будила меня легким щелчком по лбу. Её пальцы всегда были ледяными.

Отец приходил под утро. Точнее, его приносило течением, как щепку. От него пахло тройным перегаром, застарелым машинным маслом и тем самым безысходным торфяным духом, который казался запахом самой земли. Раньше отец был человеком. Инженером-конструктором, чертил какие-то турбины для этого самого комбината; я видел старые фотографии: молодой парень в белой рубашке стоит на фоне чертежной доски, улыбается уверенно, смотрит в будущее. Теперь чертежи заменились мятыми схемами сдачи цветмета. Он бил кулаком по столу редко, экономя остатки сил, но метко — один раз так проломил столешницу из рыхлого

ДСП, что теперь там зияла черная дыра неправильной формы, похожая на могилу неизвестного солдата. Мать, Лена, медсестра с сутулой спиной профессионального грузчика и вечно красными, потрескавшимися от хлорки руками, молча собирала осколки посуды или вытирала водку, пролитую мимо граненого стакана. Их любовь давно превратилась в жалость. А жалость, господи, она тяжелее ненависти, она давит на грудь бетонной плитой, не давая сделать вдох. Они смотрели друг на друга вечерами как два калеки в одной дырявой лодке, которые понимают, что оба не умеют плавать, но продолжают держаться за одну ржавую банку исключительно из страха отпустить её и пойти ко дну окончательно.

Лиза была другой. Моя старшая сестра на три года существовала здесь как инородное тело, занесенное ветром из другого измерения. Пока мы дышали этой гарью и пытались выжить, она казалась хрустальной, слишком тонкой для этого давления. Но именно её отстраненность пугала меня больше отцовского пьяного угара или материнских тихих слез в ванной. Она читала то, чего не задавали в школе. Я однажды заглянул ей через плечо вечером, думая, что она делает уроки. Свет настольной лампы падал сверху, превращая её лицо в маску. Под тонкой подушкой лежал томик Ницше в мягкой, уже разваливающейся обложке салатного цвета. Буквы «Так говорил Заратустра» были потерты до белизны.

— Зачем тебе? — спросил я тогда шепотом, боясь спуг-

нуть эту тишину.

Она повернула голову медленно, словно механизм, которому нужна смазка. Посмотрела на меня своими светлыми, почти прозрачными глазами. В них не было ни тепла, ни холода. Только пустота глубокого колодца, куда если крикнешь — эхо не вернется.

— Чтобы знать, куда падать, Мишенька, — ответила она своим ровным голосом, от которого у меня всегда бежали мурашки. — Когда летишь в бездну, нужно хотя бы понимать её геометрию. Иначе разобьёшься о случайный выступ и даже не поймешь, что умер.

Я помню тот день рождения. Ей исполнилось пятнадцать. Мать испекла шарлотку — кислую, потому что яблоки купили самые дешевые, подгнившие. Отец сидел мрачный, пил чай. И вдруг Лиза встала. Она подошла к шарлотке, взяла нож и одним точным движением вырезала кусок вместе с картонным основанием. Положила себе в тарелку и начала есть вилкой только яблочную начинку, игнорируя тесто.

— Лиза, ты что творишь? — выдохнула мать.

Сестра подняла глаза.

— Сахар убивает микрофлору души, мама, — сказала она совершенно серьезно. — Вы едите мертвечину и радуетесь. А я выбираю суть. Мне не нужны ваши ритуалы сытости.

Тогда я впервые понял: моя сестра сумасшедшая. Но это было такое красивое, чистое безумие рядом с нашим гряз-

ным, вонючим унынием, что я влюбился в неё мгновенно и навсегда.

Триггер случился в среду. Обычную, ничем не примечательную среду, пропахшую озоном перед грозой, которая так и не пришла. Соседский пес, старый беззлобный Рекс, дворняга неопределенного рыжего окраса, которого все подкармливали объедками со стола, забрел на наш участок. Наверное, хотел укрыться от жары под крыльцом.

Отец вышел покурить. Споткнулся о ведро, оставленное матерью для мытья полов, упал лицом прямо в жирную, черную грязь палисадника. Грязь чавкнула, принимая его тяжесть. Он поднялся, размазывая землю по щеке, посмотрел мутным взглядом вокруг, ища виноватого, и увидел собаку. Ему нужен был враг. Нужен был объект для сброса той черной рвоты, что кипела внутри вместо крови. Он схватил первое, что попало под руку — кусок строительной арматуры, забытый рабочими еще год назад.

Мы с матерью выбежали на визг. Визг был коротким, булькающим. Пес дергался в конвульсиях на земле, задние лапы скребли воздух, глаза уже стекленели, затягиваясь белесой пленкой, а отец стоял над ним, тяжело дыша, расставив ноги, и капли слюны смешивались с грязью на подбородке. Арматура валялась в стороне, покрытая темной слизью и шерстью.

Мать закричала. Тонко, по-заячьи. Бросилась к отцу, пы-

таясь вырвать железо, но он оттолкнул её так, что она упала навзничь, ударившись затылком о ступеньку. Я замер. Всё мое существо кричало «Беги! Помогай!», но ноги вросли в асфальт, превратившись в свинец.

Мы закопали Рекса за гаражами, в низине, где земля никогда не просыхала. Земля чавкала под лопатой, хлюпала, пропитанная химией и водой. Она не хотела принимать даже труп собаки. Я копал, ломая ногти, сорвав мозоли на ладонях, пот заливал глаза. А Лиза стояла рядом, не помогая. Она смотрела не на яму, не на окоченевшее тело пса, обернутое в чей-то драный мешок. Она смотрела на трубы комбината вдали. Из труб валил жирный, абсолютно черный столб дыма, перечеркивая небо.

Когда я воткнул лопату в край ямы, понимая, что сил бросить первый ком земли нет, она опустилась на колени. Взяла мою перепачканную, дрожащую ладонь своей ледяной рукой. Пальцы у неё всегда были ледяными, будто кровь в них циркулировала наполовину.

— Слышишь? — спросила она очень тихо, наклонившись к самому моему уху.

Я слышал всё. Я слышал гул завода, свое рваное дыхание, жужжание мухи над кучей мусора неподалеку, далекий мат грузчиков на станции. Но вопрос требовал ответа.

— Нет ничего, Лиз. Только воняет болотом.

— Гнием, — сказала она очень спокойно, будто конста-

тировала факт, что идет дождь или пора платить за квартиру. — Мы здесь гниём заживо, братец. Кожа слезает лоскутами, а под ней такая же мертвая, отравленная земля. Нам нужна искра, Миша. Настоящий огонь. Чтобы сгореть дотла. Без остатка. Чтобы стать чем-то иным. Пеплом. Иначе они забьют нас арматурой, как эту псину, просто походя, наступят сапогом на лицо, потому что мы под ногами мешается. Как мусор.

Её голос дрожал. Но не от страха. От предвкушения. От того низкого, животного восторга, который охватывает человека перед прыжком с небоскреба. Она хотела падения. Она жаждала удара о дно, чтобы проверить, выдержит ли её хрусталь.

Дома мать мыла пол. Молча, остервенело, теряя тряпкой паркет так, будто пыталась содрать кожу с дома. Отец спал на диване, храпя так, что звенела люстра с висюльками. Люстра осталась от бабушки, единственная красивая вещь в доме. Сейчас одна висюлька откололась и лежала на столе, похожая на застывшую слезу.

Я прошел в нашу с Лизой комнату. Сел на свою кровать. Матрас продавился жалобно. Я смотрел на стену. Обои в мелкий цветочек кое-где отошли на стыках, обнажив желтую газету восьмидесятых годов про надои молока.

«Завтра физкультура, — подумал я машинально. — Нужно будет подтянуться восемь раз, иначе Смирнов опять на-

зовет меня доходягой».

И тут мой мозг дал сбой. Логическая цепь рассыпалась. Какие подтягивания? Какой Смирнов? Там, за стеной, в мокрой глине лежит собака, которую убили куском ржавого железа, потому что взрослый мужик споткнулся о ведро.

Меня затрясло. Зубы снова начали стучать, но теперь не от вибрации стен. Это был первобытный ужас. Ужас понимания.

Лиза вошла бесшумно. Она сняла свои кеды, испачканные глиной, поставила их аккуратно в угол. Подошла и села на пол напротив меня, скрестив ноги. Достала сигарету из кармана моей куртки. Закурила. В комнате запрещалось курить, мать бы устроила истерику, но сейчас плевать было всем.

Она выпустила струйку дыма. Серый змей растворился в желтом свете лампочки под потолком.

— Ты думаешь, я чудовище? — спросила она, глядя на кончик сигареты.

Я молчал. Горло перехватило спазмом.

— Ты стояла и смотрела, — выдавил я наконец. Хрипло, чужим голосом. — Ты даже не попыталась... взять его. Его можно было спасти, может...

— Спасти? — она усмехнулась. Криво, одними губами. Глаза оставались мертвыми. — Миша, очнись. Его нельзя было спасти. Он родился в этом районе. Он дышал этим воздухом десять лет. Его почки сгнили еще в прошлом году, я видела, как он мочился кровью у забора. Эта арматура про-

сто избавила его от трех дней агонии в ветеринарке, куда его никто бы не повез. Вопрос не в собаке, дурачок.

Она придвинулась ближе. Протянула руку и коснулась моего колена. Холод обжег даже сквозь джинсу.

— Вопрос в том, кто следующий возьмет арматуру. Нас ведь тоже можно списать. За ненадобностью. Папаша уже начал. Мама списала себя сама, когда вышла за него. А ты, Мишенька... ты хороший мальчик. Ты хочешь спасти. Но твоя доброта — это просто трусость. Тебе страшно признать, что мир состоит из боли. Ты пытаешься латать дыры в решетке.

Она затушила сигарету о подоконник. Прямо по старой краске.

— Марк понимает это. Он предлагает не латать. Он предлагает разбить к черту это гребаное решето и построить новый аквариум. Без воды. Где выживут только те, кому не нужно дышать.

Она ушла спать. А я остался сидеть в темноте. Я смотрел на свои руки. Обычные руки четырнадцатилетнего подростка. Узловатые суставы, царапина на костяшке. Завтра эти руки будут писать контрольную по алгебре. Писать формулы, решать уравнения. Искать иксы.

Но какой смысл искать неизвестное в уравнении, если весь твой мир — это переменная, стремящаяся к нулю?

Запах фенола проникал даже сквозь закрытые окна. Я подошел к форточке и попытался закрыть шпингалет. Старый

пластик треснул в моих пальцах. Я нажал сильнее, чувствуя, как дерево крошится.

Гул завода снаружи стал невыносимым. Он входил в резонанс с моим черепом. Казалось, если я сейчас открою рот, то оттуда вместо крика вырвется такой же черный, жирный дым.

Глава 2. Марк Тагилов

Контраст бьет по глазам физически, как пощечина. После моего подъезда с облупившейся зеленой краской и запаха кошачьей мочи в лифте — высоченный забор из красного кирпича. Не просто забор — крепостная стена. За ней дышит другой мир. Там пахнет не фенолом и торфом, а стриженным газоном, деньгами и хлоркой бассейна. Особняк прокурора Тагилова давит на улицу Строителей своей чужеродной массой, словно инопланетный корабль, совершивший аварийную посадку посреди нашей свалки. Камеры наблюдения смотрят мертвыми стеклянными глазами сверху вниз. Я чувствую себя насекомым под микроскопом этого благополучия. Нажмут кнопку — и распылят ядовитый газ просто ради чистоты эксперимента.

Марк встречается меня у кованых ворот. Он сам нажимает кнопку на пульте. Звук электромотора кажется мне скрежетом зубов Левиафана.

Золотой мальчик. Это словосочетание всегда казалось мне пошлым романом в мягкой обложке, пока я не увидел его вблизи. На нем нет золотого шитья, но есть эта осанка, этот ленивый поворот головы человека, который привык, что пространство расступается перед ним. Белая ру-

башка расстегнута на две пуговицы, обнажая ключицу дорогой, нездешней кости. Но лицо... Лицо перечеркивает всю эту гляцевую картинку. Шрам. Глубокий, белый, рваный след, пересекающий правую скулу от самого уха почти до уголка рта. След той самой драки в девятом классе, о которой полгода гудела вся школа. Говорили, он дрался с тремя старшеклассниками из-за какой-то девчонки-цыганки. Врал, наверное. Такие, как Марк, дерутся только за идею или от смертельной скуки.

Мы идем через зимний сад. Настоящие пальмы. Под ногами мрамор, холодный даже сквозь подошвы моих ботинок. Мне хочется снять обувь. Хочется осквернить эту стерильность грязью наших тротуаров, наступить сюда всей тяжестью нашего гниющего района, чтобы посмотреть, останется ли пятно.

— Они думают, стены спасают, — говорит Марк, не оборачиваясь. Голос у него бархатный, прокуренный, но приятный. Инструмент оратора. — Мой отец думает, что если забетонировать периметр и поставить систему очистки воздуха, то торфяной смрад не коснется его идеального газона. Идиоты. Смрад уже здесь. Он внутри них. Они гниют заживо в своих бассейнах, Миша. Просто их плесень имеет биржевую стоимость.

Он заводит меня в кабинет. Здесь нет портретов прези-

дента. Вместо них — огромная фотография Эдварда Мунка на стене. «Крик». Пастельные тона безумия освещаются трескучим огнем искусственного камина. Мы садимся в кожаные кресла, которые скрипят слишком громко для этой тишины.

— Чай? Кофе? Или чего покрепче? У отца отличный бар. Арманьяк сорокалетней выдержки. Пахнет детством и безнаказанностью.

— Воды, — выдавливаю я. Горло пересохло от ненависти к этим креслам.

Марк смеется. Легко, запрокинув голову. Шрам на щеке натягивается, искажая красоту лица, делая её хищной.

— Воды... Хорошо. Символично. Ты просишь воды в пустыне собственного духа.

Он наливает воду из хрустального графина. Стаканы звенят. Этот звон режет слух. Всё здесь звучит неправильно: слишком чисто, слишком дорого, слишком мертво.

— Я читал твой реферат по обществознанию, — Марк подается вперед. Его глаза цвета мокрого асфальта впиваются в меня. — Про социальное неравенство. Банально. Слезливо. Жалоба раба хозяину. «Пожалуйста, дайте нам чуть больше объедков, мы будем тише плакать под столом». Почему ты всё еще веришь в их правила, Михаил?

— А какие правила твои? — огрызаюсь я. Во мне закипает

злоба плебея, которого пустили потрогать золотой унитаз. — Жрать барсуков в лесу? Стоять раком в муравейнике? Это твоя альтернатива?

Лицо Марка не меняется. Ни один мускул не дрогнул. Только в глубине зрачков вспыхивает и тут же гаснет опасный огонек.

— Муравейник честнее тюрьмы, — произносит он тихо. — В тюрьме тебя охраняют. В муравейнике ты платишь болью за право дышать. Боль — это единственная валюта реальности, Мишенька. Всё остальное — симулякры твоего папаши, пропивающего остатки инженерного разума, и моей мамли-матери, которая колется антидепрессантами, потому что свет софитов на благотворительном балу жжет ей кожу.

Он встает. Подходит к окну. За стеклом — идеальный английский парк, припорошенный искусственным снегом из пушки.

— Если Бога нет, то всё дозволено, — цитирует он, глядя на заснеженный кедр. — Твой любимый Федор Михайлович был прав наполовину. Формула верна, но вывод слаб. Если всё дозволено, значит, правил вообще не существует. Значит, любой закон — это насилие посредственности над гением. Демократия — это власть толпы тараканов, которые большинством голосов решают, какого цвета должен быть линолеум в столовой. Нет, Миша. Если всё дозволено, то единственный закон — это воля Сверхчеловека.

Он поворачивается ко мне резко. Движение змеи.

— Я не хочу убивать отца. Это мелко. Дворовый бандитизм. Я хочу занять его место. Не в этом доме. В системе. Город прогнил насквозь, корни его отравлены комбинатом. Нужно отсечь больное. Выжечь. Я создам коммуну. Не общину хиппи с цветами в волосах. Нет. Лабораторию. Социальный эксперимент. Чистую породу. Мы уйдем туда, куда они боятся сунуться — в топи. Лес очистит нас огнем первобытности. Кто выживет — станет материалом для нового общества. Без денег. Без лжи. Только чистая иерархия силы и духа.

— Ты хочешь стать Богом, — говорю я. Это не вопрос. Это диагноз.

Улыбка Марка становится шире. Той самой усмешкой Раскольниковова после убийства процентщицы — торжествующей, омерзительной и бесконечно уставшей.

— Я им уже стал. Для тех, кто там. Разве ты не видишь? Они молятся на меня. Девочки готовы вырезать свои имена у меня на груди тупыми ножницами, лишь бы я посмотрел на них лишний раз. Мальчишки отдадут почки. Потому что я предлагаю им не еду. Я предлагаю им исключительность. Право перестать быть серой массой. Быть нулем больно, Миша. Нуль ничего не значит. Единица — вот начало счета. Я делаю из них единицы. Даже если для этого приходится ломать им хребты.

Первая вербовка никогда не выглядит как похищение. Никакой темноты, мешков на голове и угроз. Это всегда исповедь. Человек человеку — гнойник, которому нужно вскрыться.

Юрок ушел первым. Серега Юрковский. Сын школьной уборщицы и спившегося электрика. Вечно голодные глаза, сутулость, запах сырого подвала, въевшийся в куртку. Марк нашел его в подсобке спортзала, где Юрок прятался от урока физкультуры, потому что штаны были дырявые, а кроссовок не было вовсе.

Я видел это издалека. Марк подошел к нему не как царь к рабу. Как врач к больному. Присел на корточки, чтобы смотреть снизу вверх, доверительно.

— Тебе ведь тошно, да? — спросил он тогда (я узнал это позже со слов самого Юрока). — Тошно каждый день видеть эти рожи. Учителя делают вид, что учат, ученики делают вид, что слушают. Все играют в жизнь, Сережа. А играть сил нет. Сил хватает только на то, чтобы ненавидеть.

Юрок молчал. Сопел. Ждал подвоха.

— Я ненавижу их тоже, — продолжил Марк. Тихо, интимно. — Всех. Моего отца особенно. Знаешь, почему? Он купил мне машину на восемнадцатилетие. Новую. А я смотрю на неё и вижу гроб. Золотой гроб, в котором меня везут на кладбище при жизни. Потому что всё уже кончено, понимаешь? Потолок достигнут. Дальше только жиреть и ждать инфаркта. А у тебя потолка нет. У тебя бездна под ногами.

Это страшнее, но это... свободнее. Пойдешь со мной? Мне не нужны сильные. Сильные предадут за кусок мяса. Мне нужны те, кому нечего терять. Те, чья кожа настолько тонка, что любое прикосновение мира причиняет физическую муку. Из твоей боли можно сделать клинок, Сережа. Острый. Очень острый.

Юрок пошел. Конечно, пошел. Ему дали чистую одежду, накормили стейком и сказали, что его ненависть — это дар Божий. Что он не мусор. Он — хирургический инструмент.

Потом была Света. Девочка с анорексией, прозрачная фарфоровая куколка родителей-бухгалтеров. Она считала калории так же истово, как монахи перебирают четки. Её тело было полем боя, которое она проигрывала. Марк поймал её в туалете торгового центра, когда она вызывала у себя рвоту после съеденного салата.

— Ты пытаешься уничтожить материю, чтобы дух вырвался на свободу, — сказал он ей. — Но ты делаешь это грубо. Топором. А надо скальпелем. Приходи. Мы научим тебя летать без ампутации крыльев.

Она пришла. Принесла с собой весы.

Они стекались к нему сами. словно ручейки гноя из одной большой раны города. Димка-хакер, изгнанный из частной школы за продажу доступа к камерам в женской раздевалке — хотя я думаю, он сделал это не ради денег, а ради

того, чтобы увидеть настоящий страх в глазах недостижимых девочек. Близнецы Кожуховы, чьи родители-сектанты морили их голодом во имя Христа; теперь они готовы были морить кого угодно во имя Марка.

Он собирал самых сломанных. Осколки империи. Бой посуды на свадьбе Сатаны. И каждому он говорил одно и то же: «Ты избранный. Твоя грязь — это золото высшей пробы, просто оно еще не прошло переплавку».

Когда я вышел из его дома обратно в наш район, ночь показалась мне невыносимо черной. Фонарь у подъезда мигал в эпилептическом припадке. Запах помойных баков ударил в нос с такой силой, что меня едва не стошнило прямо на асфальт. Контраст выжигал легкие.

Я поднялся в квартиру. Мать сидела на кухне, смотрела в одну точку на стене. Телевизор работал без звука — какая-то реклама стирального порошка, счастливая семья на фоне идеально белой простыни. Лицо матери было серым цветом этой простыни. Уставшим, полинялым.

Отец храпел в комнате. Громко, с присвистом. В такт вибрации стен от завода.

И вдруг меня пронзило ледяной иглой. Осознание. Чистое, дистиллированное, как спирт.

А ведь Марк прав.

В каждом движении отца, тянувшегося к бутылке под диваном, была ложь. Ложь бывшего инженера, ставшего мусором. В молчании матери, чистящей картошку трясущимися руками, была капитуляция. Вся наша квартира пропиталась запахом поражения. Мы сдались давно, еще до моего рождения. Мы согласились быть фоном. Декорацией для великой трагедии Прокурорского Сына.

Я прошел в нашу с Лизой комнату. Сел на пол, привалившись спиной к холодной батарее. Закрыв глаза.

«Если Бога нет, то всё дозволено», — крутилось в голове.

Но Марк добавил главное: «...но я сам стану Богом этого леса».

Разве не об этом мечтает каждый затравленный мальчишка в каждой вонючей школе каждого промышленного города? Не просить милостыню у неба, а самому схватить небо за горло? Раздавить этих жирных, сытых, чистых людей, вроде Тагилова-старшего? Стереть улыбку с лица моего отца и заменить её ужасом понимания?

Это была не зависть к деньгам. Это была зависть к праву сильного. К праву решать, кому жить в особняке, а кому рыться в грязи.

Лиза поняла это раньше меня. Намного раньше. Ее холодность, ее книги про бездну — это была подготовка. Она годами примеряла на себя мантию демиурга.

А я всё цеплялся за алгебру. Искал иксы там, где уравне-

ние давно сгорело дотла.

Сон не шел. Я встал. Подошел к окну. Посмотрел на свое отражение в черном стекле. Узкое лицо, синяки под глазами, дешевая стрижка. Серость. Абсолютный нуль.

Где-то там, за чертой города, в темноте болот, горел костер. Возле него сидел золотой мальчик со шрамом на лице и лепил нового Адама из праха и отчаяния.

И моя сестра стояла рядом, подавая ему глину.

Глава 3. Исповедь насекомого

Утро началось с головной боли, сухой и острой, как стекло разбитой бутылки в подъезде. Свет просачивался сквозь пожелтевшие обои неохотно, рисуя на потолке карту трещин, похожую на кровеносную систему какого-то мертвого гиганта. Я спустил ноги с дивана. Линолеум был холодным, влажным от подвальной сырости. Холодно. Всегда холодно в этой квартире, сколько бы батарей ни крутили вечно пьяные слесари ЖЭКа, оставляя после себя лужи грязной воды и окурки «Примы». Вода в кране текла рыжая, густая, пахнувшая железом, тиной и смертью. Она оставляла ржавый след на эмали раковины, который невозможно было оттереть даже хлоркой — въедалось намертво, как проказа.

Я долго смотрел на свое отражение в потускневшем зеркале ванной. Лицо незнакомца. Чужака, запертого в моем

черепе. Впалые щеки, кожа натянута так, что кажется прозрачной. Синяки под глазами цвета перспелой сливы, почти черные у переносицы. Насекомое. Достоевский прав, этот город превращает людей в тараканов, прячущихся от тапка судьбы по темным углам за холодильником. Но некоторые тараканы, самые безумные, решают, что пора сменить тактику. Они перестают прятаться. Они решают сожрать тех, кто держит тапок. Или хотя бы перегрызть шнурок.

На кухне мать пыталась жарить яичницу. Сковорода была старой, чугунной, покрытой нагаром веков. Желтки расплылись белыми лужицами, смешавшись с белком, превратившись в мутные бельма слепого глаза. Запах горящего масла бил в нос дешевым отчаянием.

— Опять всю ночь? — спросила она, не поворачиваясь. Её спина ссутулилась окончательно, навсегда, словно невидимый бетонный груз придавил её к земле прямо между столом и плитой. Горб растет изнутри.

— У друзей, — солгал я. Губы едва шевелились, язык стал ватным, чужим. Ложь давалась тяжело; слова застревали в горле комками вчерашней тоски.

— Какие друзья, Миша? — она всё-таки обернулась. В глазах не было злобы, только бесконечная усталость человека, уставшего хоронить заживо. — У тебя нет друзей. Есть такие же... потерянные. Перекати-поле. Хотя бы отца постеснялся. Он вчера опять кран сорвал в ванной. Всю прихожую

залило кипятком, линолеум вздулся пузырем. Денег нет чинить. Вызвали аварийку, те посмотрели, плюнули и ушли. Сказали, трубы сгнили вместе с домом.

Деньги. Вечное проклятие нашего рода. Эти бумажки, ради которых люди продают душу дьяволу оптом и в розницу, а потом удивляются, почему та начинает смердеть серой еще при жизни.

— Починим, — буркнул я, глядя в пол. На стыке линолеума темнела плесень, похожая на карту Африки.

— Чем? Своими молитвами? — она горько усмехнулась, обнажив десны. Зубы у неё тоже начали крошиться от дешевых сигарет. — Молись своему Марку. Богатый мальчик. Небось, папочка ему новую машину купил. Красивую, блестящую, чтобы девок катать. А твой отец...

Она не договорила. Махнула рукой резко, раздраженно, плеснув подсолнечное масло из пластиковой бутылки на сковороду. Жир зашипел, плюясь раскаленными каплями, одна больно обожгла мне тыльную сторону ладони. Этот звук — шипение жира на металле — напомнил мне выстрелы. Или короткое, влажное шипение паленой плоти. Где-то глубоко внутри, в самой древней, животной части мозга, там, где живет мозг рептилии, зародилось желание. Простое, скотское, первобытное. Взять эту тяжелую чугунную сковороду, пока она горячая, и обрушить ее на затылок. Не матери. Отцу. Тому, кто храпит сейчас в комнате, пуская слюни на подушку. Просто чтобы прекратился этот звук. Этот вечный, сво-

дящий с ума звук проигранной жизни, трущейся о камень равнодушия.

Я выскочил на улицу, глотая отравленный воздух комбината, как спасение. Морозный ветер ударил по лицу, отрезвляя. Идти в школу значило сидеть в классе с облупившейся краской цвета детской неожиданности, слушать бубнеж исторички про значение Куликовской битвы для объединения земель, когда внутри меня разворачивалась своя битва. Битва титанов. Армагеддон личности. Борьба за право называться человеком, а не функцией размножения двух неудачников, случайно встретившихся на танцах в ДК «Химик».

Я пошел к реке. К тому месту за старым портовым элеватором, где комбинат сбрасывал теплую воду охлаждения. Даже зимой здесь не вставал нормальный лед. Над черной, маслянистой гладью стоял густой пар, создавая иллюзию тепла, иллюзию гейзера, иллюзию жизни. Иллюзия — вот ключевое слово моего города. Всё вокруг было имитацией существования.

Там, у кромки вонючего песка, я нашел Макса. Он сидел на перевернутой лодке, брошенной тут еще со времен царя Гороха, и швырял плоские камни в нефтяные пятна. Камни тонули бесшумно, проглатываемые мазутом.

— Принес? — спросил он вместо приветствия. Голос у него был сиплый, простуженный. Или это последствия клея

«Момент», который он нюхал в прошлом году, пока родители были на заработках в Москве. Говорят, клей выжигает нейроны, отвечающие за страх. Макс выглядел абсолютно спокойным. Пустым.

Я молча достал из-за пазухи сверток. Деньги. Почти всё, что мать откладывала "на черный день", пряча жестяную коробку из-под леденцов под половицей в спальне. Коробку было легко поддеть ножом. День сегодня действительно был чернее ночи.

Макс развернул купюры, послунывил большой палец, привычно, по-деревенски пересчитал хрустящую бумагу. Ухмыльнулся уголком рта, отчего шрам на его лице побелел.

— Нормально. Марк оценит. Он любит преданность. Особенно финансовую. Чистоган очищает карму лучше любой молитвы.

— Что взамен? — выдавил я. Вопрос прозвучал жалко. Как на рынке.

Макс перестал ухмыляться. Сделал лицо серьезным, почти торжественным. Достал из внутреннего кармана своей засаленной куртки предмет, завернутый в чистую фланель. Развернул ткань медленно, театрально, как фокусник достает кролика. На тусклом зимнем свете блеснуло лезвие. Финка. Рукоять из наборной бересты, теплая на вид, удобная. Клинок сантиметров пятнадцать, хищно загнутый вверх, острый как бритва цирюльника. Сталь ловила свет и преломляла его зловеще.

— Работа старая, зэковская, ворованная, — сказал Макс любовно поглаживая сталь большим пальцем, проверяя заточку. Ноготь прошелся по режущей кромке беззвучно. — Хорошая сталь. Легированная. Режет мясо, Миша, как сливочное масло. Проверляли на кабане в прошлом месяце. Кабан даже понять не успел, что умер.

Меня затошнило внезапно, спазмом. Комбинация запаха реки, вида холодной стали и мысли об отце вызвала рвотный позыв. Я сглотнул кислую слюну.

— Сегодня? — прохрипел я.

— Сегодня испытание, — кивнул Макс, бережно заворачивая нож обратно во фланель. Словно ребенка пеленал. — Марк собирает посвящение. Для новеньких. Стадо нужно клеймить, чтобы оно знало пастуха. Ольгу помнишь? Из параллельного. Которая плакала постоянно, потому что прыщ вскочит?

Я кивнул. Ольга была тихой, серой мышкой с вечно красным носом.

— Ей нужно доказать серьезность намерений, — продолжил Макс буднично, будто объяснял расписание автобусов. — Слезы раздражают Учителя. Истерика — это удел баб. Нужно принести жертву. Маленькую. Символическую. Очищение через боль.

— Живую? — язык еле ворочался во рту, ставшем вдруг размером с блюдце.

— Собаку твоего соседа мы уже схоронили, хватит сан-

тиментов, интеллигент чертов, — хохотнул Макс, но смех застрял в горле сухим кашлем, когда увидел мое лицо. Глаза его сузились, стали колючими. — Расслабься. Никто никого резать не заставляет. Ну, почти. Жертва должна быть добровольной. С точки зрения жертвы, конечно. Это высшая форма служения. Марк считает, что страдание очищает. Физическая боль выводит дух из матрицы материального тела. Боль — это единственный способ поговорить с Богом напрямую, без посредников в виде попов. Ольга согласилась. Она сама попросила клеймо. Хотела стать красивой. Меткой зверя. Теперь она одна из Верных.

У меня потемнело в глазах. Комната, река, Макс — всё смазалось в одно серое пятно. Клеймо. Огонь. Мясо. Запах паленой шерсти Рекса наложился на воображаемый запах горячей человеческой кожи. Я вспомнил слова Лизы. «Мы гниём заживо...». Чтобы перестать гнить, нужно сгореть.

— А если я откажусь? — спросил я, хотя знал ответ. Знал его с той секунды, как взял деньги из коробки матери. Дорога имела одностороннее движение.

Макс посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Так энтомолог смотрит на редкого жука, пойманного в банку, прежде чем залить его формалином и пришпилить булавкой к картону.

— Отказаться нельзя, Миша. Ты пойми простую вещь. Дорога сюда — билет в один конец. Обратного поезда нет, рельсы разобрали. Те, кто пытается соскочить, становятся

удобрением. В торфе хорошо растет только смерть, запомни это. Там кислорода нет, одни миазмы. Так что бери финку. Сунь за пояс сзади. Чувствуешь тяжесть? Вот тут, против позвоночника? Это гравитация реальности, брат. Привыкай. Земля тянет вниз. Марк учит летать, но сначала ты должен упасть мордой в грязь. Очень глубоко.

Он встал, отряхнул штаны. Посмотрел на часы. Дорогие, стальные.

— Время. Иди за мной. И сделай лицо попроще. Будто идешь сдавать норматив по физре. Если дрогнешь — вылетит. А вылет отсюда означает прогулку в лес с лопатой. У нас кладбище разрастается быстрее, чем коммуна. Торф всех примет.

Мы шли вдоль берега. Ботинки вязли в смеси песка и химикатов. Внутри меня шла война. Гражданская война здравого смысла с этим новым, чудовищным порядком вещей.

Это абсурд. Это преступление. Надо бежать в полицию.

Голос разума был тонким, визгливым, как голос училки младших классов. Ему никто не верил.

Полиция? — отвечал другой голос, низкий, утробный, голосом Марка или того самого Левиафана. — Они скажут тебе то же самое, что сказали про собаку. «Подождем трое суток». А через трое суток твоя сестра выпьет яд, прыгнет с крыши или просто перестанет дышать во сне, потому что ее воля будет полностью растворена в воле Тагилова. Ты хо-

чешь спасти сестру?

Хочу.

Тогда иди. Бери грех на себя. Христос терпел и нам велел. Только Христос гвозди терпел, а тебе всего лишь надо подержать нож и посмотреть, как плавится свинья. Мелочь такая.

Но разум цеплялся за детали. За биологию. Меня мутило от одной мысли о запахе. Когда убивают живое, организм выделяет адреналин, кортизол, мочевины... Страх имеет специфический аммиачный привкус. Я читал об этом. Если я почувствую этот запах страха Ольги, меня вывернет прямо на снег. И они увидят. Макс увидит. Марк узнает. Предателей топят в болоте. Связывают руки проводом от кипятильника и бросают в прорубь. Провода тяжелые, быстро тянут на дно.

Место сбора оказалось в старых очистных сооружениях. Огромные бетонные кольца, поросшие мхом и черной слизью. Внутри пахло канализацией и гарью. Горел костер. Большой, обложенный кирпичом. Пламя металось, отбрасывая на стены гигантские, дергающиеся тени. Теневой театр преисподней.

Народу было человек десять. Стояли полукругом. Лица освещались снизу, превращаясь в маски демонов. Бритые головы, пирсинг, темные балахоны. Униформа новой церкви.

Лиза стояла чуть в стороне. Она увидела меня первой. По-

дошла. От неё пахло дымом и какими-то травами. Сухая пыльнь.

— Ты пришел, — сказала она тихо. Без радости. Констатация факта. — Хорошо. Значит, кровь еще течет.

— Лиз, я не знаю... — начал я, оглядываясь на мрачные фигуры. — Мне дали нож. Там девочка... Ольга. Они хотят её...

Лиза взяла мои руки. Её пальцы были ледяными, но сильными. Железная хватка утопленницы.

— Тише, — прошептала она мне на ухо. — Не смей называть их имен всуе. Здесь нет девочек. Здесь есть материал. Ольга выбрала путь очищения. Радуйся за неё, Михаил. Большинство умирает бессмысленно, от рака или водки. Ей дарован ритуал. Трансцендентный переход. Марк проведет инициацию. Тебе доверили честь держать инструмент. Это доверие, брат. Не опозорь меня.

Она отступила на шаг назад, становясь частью толпы. Растворяясь. Её глаза в свете костра казались абсолютно черными, без белков.

Из центрального прохода, ведущего в недра бетонного лабиринта, вышел Марк. На нем не было балахона. Только простые холщовые штаны и голый торс. Несмотря на холод подземелья, от его тела шел пар. Шрам на скуле пульсировал багровым светом в такт огню. В руках он держал металлическое тавро. Стержень, заканчивающийся символом. Я при-

смотрелся. Перевернутая спираль. Похоже на медицинский символ, вывернутый наизнанку.

Ольга лежала на импровизированном алтаре — старой двери, положенной на два чурбака. Она была обнажена по пояс. Её худенькое тело, покрытое подростковыми прыщами, казалось жалким и синим в отсветах пламени. Рот её был заклеен серебристым скотчем крест-накрест. Глаза широко открыты. В них не было ужаса. Было какое-то жуткое, фанатичное спокойствие. Экстаз мученицы. Она хотела этого. Она верила, что огонь выжжет из неё «прыщи» души.

Марк подошел к костру. Сунул рукоять тавра в самый центр, в синие языки ацетилена, который кто-то добавил в дрова для температуры. Металл мгновенно покраснел, затем стал желто-белым, ослепительным.

Двое парней — близнецы Кожуховы — подошли к Ольге и прижали её плечи к доске. Третий сел на ноги. Никакого сопротивления. Девочка смотрела в потолок, её грудь часто вздымалась. Скотч надулся пузырем от дыхания.

Макс толкнул меня в спину. Вперед. Нож в штанах больно впился в позвоночник, напоминая о себе. О гравитации.

— Держи, — Марк протянул мне клещи, которыми извлек тавро из огня. Металл дрожал, роняя на бетон искры. Капля расплавленного металла упала мне на кроссовку. Резина задымилась, едкий химический запах ударил в нос, но я боли не почувствовал. Адреналин выключил нервные окончания.

Руки тряслись так сильно, что клещи звенели. Звук отдавался в пустом бетоне колокольным набатом. Дон-дон. Предаешь мать. Дон-дон. Станешь убийцей.

— Сюда, — Марк указал на место слева от сердца Ольги. Белую кожу покрывала испарина. — Аккуратно. Плотно. Задержи на три удара пульса. Не меньше. Иначе знак будет бледным, печать недействительна. Сатана таких подделок не принимает.

Я опустил руку. Раскаленный металл приближался к живой плоти. Воздух над тавром дрожал маревом. Я видел каждую пору на коже девочки. Видел тонкий пушок над губой. Она закрыла глаза. Приготовилась.

Внутри меня что-то оборвалось. Тонкая нить человечности, которая связывала меня с матерью, с запахом яичницы, с историей про Куликово поле. Нить лопнула с тихим звоном лопнувшей струны.

Я прижал железо к телу.

Раздалось короткое, влажное, тошнотворное шипение. Запах паленого мяса пополам с жжеными волосами заполонил легкие. Это был самый страшный запах на свете. Запах барбекю в крематории.

Ольга выгнулась дугой. Тело напряглось так, что Кожуховым пришлось навалиться всем весом, иначе она сбросила бы их. Из-под скотча вырвался глухой, вибрирующий вой, больше похожий на рев медведя в капкане. Глаза распахнулись. Зрачки огромные, черные. Она смотрела прямо на ме-

ня. Сквозь меня.

Я считал. Один. Сердце молотило в ушах кузнечным молотом. Два. Металл входил глубже, жир пузырился, сворачиваясь. Три.

Я отдернул руку, отбросив клещи. Они лязгнули по земле. Тавро осталось в теле долю секунды, оставив четкий, черный, дымящийся отпечаток спирали. Знак принадлежности. Ольга рухнула обратно. Обмякла. Закатила глаза. Только белки сверкнули. Из носа вытекла тонкая струйка крови. Она потеряла сознание. Глубокий шок. Система выключила питание, чтобы сохранить процессор.

Наступила тишина. Только треск дров и тяжелое дыхание близнецов.

Марк наклонился. Осмотрел ожог. Довольно кивнул.
— Идеально, — произнес он своим бархатным голосом.
— Черный, глубокий. Добро пожаловать домой, сестра.
Потом он перевел взгляд на меня. Его глаза улыбались.
— Ты молодец, Михаил. Руки не дрогнули в последний момент. Многие ломаются именно на третьем ударе сердца. Им становится жалко. Жалость — это вирус. Ты чист от вируса. Пойдем, поговорим.

Он положил мне руку на плечо. Ладонь была горячее, как печная заслонка. Мы отошли в тень, подальше от костра, где корчилась в забытии девушка с клеймом зверя на груди.

— Вкус власти чувствуешь? — спросил Марк, доставая сигарету. Закурил, выпустил дым мне в лицо. — Это вкус

пепла. Ты теперь знаешь секрет. Мир делится не на богатых и бедных. На тех, кто ставит клеймо, и тех, кого клеймят. Ты выбрал правильную сторону. Отец гордился бы тобой. Инженер-конструктор всегда уважает точность чертежа. А сегодня мы начертили идеальный круг.

Меня наконец вырвало. Прямо на его ботинки. Дешевым желудочным соком и желчью. Я упал на колени, сотрясаясь в конвульсиях, царапая бетон ногтями.

Марк не рассердился. Он просто обошел лужу и похлопал меня по спине.

— Ничего, — сказал он мягко. — Это просто выходит старый мир. Выворачивайся наизнанку, Миша. Нам понадобится свободное место внутри тебя. Для нового неба.

Глава 4. Дом на костях

Особняк прокурора Тагилова стоял на холме, нависая над городом тяжелой, давящей массой, словно готический собор, построенный безумным архитектором во славу Сатаны. Красный кирпич казался мокрым от крови даже под серым зимним небом, черепица блестела, как чешуя дракона, а камеры наблюдения на каждом углу смотрели мертвыми стеклянными зрачками. Контраст с нашими бетонными коробками был настолько чудовищным, физически невыносимым, что вызывал резь в глазных яблоках — когнитивный диссонанс плоти. Это был другой биологический вид. Другая каста существ, дышащая иным воздухом.

Нас впустил охранник в костюме, стоимость которого равнялась годовой зарплате моей матери. Ни слова. Только металлоискателем провел профессионально, безлично, как сканер в супермаркете считывает штрих-код товара. Финку пришлось оставить в машине Макса; холодный металл выскользнул из-за пояса, оставив после себя фантомное ощущение тяжести и уязвимости пустоты. Марк встретил нас в библиотеке.

Огромный стеллаж темного дерева уходил под потолок, забитый книгами в кожаных переплетах с золотым тиснением. Настоящие книги, пахнущие пылью веков, сухой кожей и властью. Здесь не было запаха торфа или дешевого табака. Воздух был стерильным, кондиционированным, лишенным истории. Я почувствовал приступ удушья — мне не хватало смрада родного района, чтобы дышать.

Марк изменился. Исчезла студенческая небрежность, вечно расстегнутые пуговицы и следы недосыпа под глазами. Сейчас перед нами стоял хозяин положения. Хозяин этого дома. Движения стали скупыми, точными, экономными — так двигаются крупные хищники, знающие цену каждому мускулу. Ворот белоснежной рубашки расстегнут, обнажая ключицу нездешней кости. На шее серебряная цепь с каким-то древним символом — кажется, валькнут или нечто

подобное скандинавское, пугающее своей геометрической правильностью.

— Проходите, братья, — сказал он. Голос заполнил пространство библиотеки, вытесняя кислород, заставляя барабанные перепонки вибрировать. Он подошел к нам вплотную. От него пахло озоном и дорогим парфюмом. — Чувствуете вибрацию пола? Под нами три этажа вниз. Бункер. Автономная система жизнеобеспечения. Собственный генератор, фильтры воды, запас провизии на год. Мы автономны. Город внизу может сгинуть в ядерной зиме, провалиться обратно в торфяные болота, откуда вылез, а здесь будет светло, тепло и сухо. Это и есть истинная власть, мальчики. Не закон отца. Независимость от черни.

Ольга сидела в глубоком вольтеровском кресле чуть поодаль. Бледная до синевы восковой куклы. Руки лежат на коленях идеально симметрично. Она выглядела спокойной, слишком спокойной. Механизм, из которого вынули заводной ключ, но забыли остановить маятник. Пустая оболочка.

— Боишься? — спросил Марк, проходя мимо нас и подходя к ней. Провел пальцем по её ключице, едва касаясь кожи. Жест собственника, проверяющего целостность имущества. Она даже не моргнула. Зрачки были сужены в точки.

— Нет, Учитель, — голос её прозвучал ровно, механически. — Я хочу очиститься. Хочу избавиться от стыда. Стыд жжет сильнее огня.

— Стыд — это яд, которым общество травит сильных, чтобы держать их в узде, — произнес Марк дежурную фразу, которую я уже слышал в промзоне, но сейчас, в этой тишине, она звучала как откровение Иоанна Богослова. — Сегодня мы снимем кожу прошлого. Плоть слаба и несовершенна, она гниет, воняет и предает. Но дух требует знаков. Покажи им свою печать.

Ольга подняла рукав тонкого кашемирового свитера. Ткань сползла, обнажая руку. На предплечье, чуть ниже локтя, краснело воспаленное, влажно блестящее пятно свежего ожога. Свежий струп. Буква "М", выведенная каленым железом с ювелирной точностью. Первая буква его имени. Метка собственности. Клеймо раба, который считает себя королем.

Я почувствовал, как желчь стремительно подступает к горлу. Рот наполнился кислотой. Это было хуже, чем убийство собаки. Убийство — это акт агрессии, выплеск. Это же было присвоение. Стерилизация личности. Выжигание собственного имени из реальности другого человека.

— Красиво, правда? — Марк сиял, улыбался той самой усмешкой Ставрогина, любуясь делом рук своих. В нем не было жестокости садиста, получающего оргазм от криков. Было удовлетворение ювелира, вставившего драгоценный камень в оправу. — Она моя. Вся. До последней нервной клетки, до последнего вдоха. И вы будете моими. Добровольно. Потому что альтернатива — быть никем. Быть пылью под

ногами таких, как мой отец. Он думает, что управляет законом. Смешно. Закон — это просто инструкция по эксплуатации стада для ленивых пастухов. А мы вне закона. Мы — стихия. Природа берет свое.

Тут вошла Лиза. Дверь открылась бесшумно, но воздух в комнате мгновенно переменялся. Стало холоднее. Сердце пропустило удар, а затем забилося вдвое быстрее, неровно, трепеща где-то в горле. Она подошла к Марку, встала рядом, чуть позади. Ростом она доставала ему до плеча. В этом доме, среди кричащей роскоши, антикварной мебели и позолоты, она не потерялась. Наоборот, её бедность, её заношенный черный свитер, её голодный взгляд подчеркивали фальшивость всей этой мишуры. Она была настоящим бриллиантом среди стразов.

— Братья мои, — обратилась она к нам. Голос чистый, звонкий, лишенный провинциальной хрипотцы. Так говорят дикторы радио или ангелы смерти. — Вы пришли сюда за свободой. Вы думаете, свобода — это отсутствие замков на дверях. Вы ошибаетесь. Свобода начинается не с убийства врагов. Она начинается с холодного, расчетливого убийства любви. Той липкой, сопливой привязанности, что держит вас у юбок матерей и штанин отцов, как поводок.

Она сделала паузу, обводя нас взглядом. Остановилась на мне.

— Миша, — повернулась она ко мне всем корпусом. Глаза

её впились в мои, темные, бездонные, затягивающие. — Что самое дорогое у человека?

— Жизнь, — ляпнул я первое, что пришло в голову, вспоминая школьную программу ОБЖ и плакаты про ПДД.

Лиза тихо, мелодично рассмеялась. Смех эхом отразился от книжных полок.

— Дурак, — ласково сказала она, как учительница умному, но недогадливому ученику. — Самое дорогое у человека — это цепи. Люди готовы отдать жизнь, здоровье и душу, лишь бы сохранить свои ржавые, скрипучие цепи. Отец пьет тормозную жидкость, мочится под себя, но Миша его любит, потому что это его отец. Мать страдает, унижается, роняет слезы в борщ, но Миша боится её расстроить одним словом. Это болезнь. Рак души. Чтобы построить новое здание, способное выдержать ураган, нужно взорвать фундамент старого. Даже если под завалами окажутся те, кого ты называешь родными. Особенно если они там окажутся.

Она взяла с каминной полки тяжелую чугунную кочергу. Обычная железная палка для ворошения углей. Сунула кончик прямо в центр пламени. Угли зашипели протестующе, выстреливая искрами. Лиза смотрела на раскаляющееся докрасна железо с нежностью, с которой мать смотрит на новорожденного.

— Сегодня ночью, — продолжила она, глядя на огонь, а не на нас, отчего её лицо казалось высеченным из камня, освещенным.

ценным снизу адским светом, — произойдет великое событие. Мы откроем дверь. Ту самую, о которой писал Алистер в своем дневнике, ту, что ведет не в лес, а в самую суть вещей. Грань между мирами истончается в местах страдания. Наш город стоит на костях. На миллионах кубометров высушенного торфа, который когда-то был живым лесом, а до леса — первобытным болотом, населенным чудью и нежитью. Торф — это консервированная смерть. Он хранит память. Боль миллионов предков, чьи легкие забивались гарью веками. Мы используем эту энергию. Мы станем громоотводом для боли этого мира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.